



Колесов В. В.

Стилистика и поэтика Кирилла Туровского*

1

В изучении Слов Кирилла Туровского особое внимание всегда уделялось стилистическим аспектам текста, связывающим их с другими произведениями XII в. «В рамках Слова чередуются тирады, в рамках тирады — предложения, в рамках предложения нередко — созвучные окончания»¹ — таковы макро- и микромиры художественной ткани этих Слов. Чтобы показать особенности филигранной работы писателя над словом, дальнейшие исследования должны коснуться собственно лингвистической характеристики древних текстов. Хотя теперь это почти неосуществимо в полном объеме, поскольку за восемь веков изменились и образное видение мира, и типы словесных связей, и значения многих слов, однако на широком фоне других произведений словесности и притом в исторической перспективе оказывается возможной (пока предварительная) расшифровка индивидуальных особенностей поэтического стиля Кирилла Туровского.

Противоречивые суждения о языке и стиле Кирилла Туровского встречаются с середины XIX в. Лингвисты и писатели высоко оценивали творения средневекового автора, а богословы и литературоведы не видели в его произведениях ничего, кроме подражаний византийскому красноречию. Несколько высказываний помогут определить степень противоречивости в суждениях о Кирилле.

«Я так думаю, что не только летописи, или Русская Правда или Слово о полку Игореве, или вопросы Кирика и пр., но и тот проповедник Туровской кафедры в своих, столь же глубоких, сколь простодушных Словах, исполненных живого сочувствия с настоящим, всенародно говоренных и часто как речениями, так даже и формами напоминающих свое месторождение, сторону Руси юго-западную, что Кирилл Туровский входит не только в историю Русской словесности, но по многому и в историю русского языка»².

«Сомнений нет, например, что проповедь Кирилла Туровского и художественностью, и самобытностью недостигаемо выше проповеди Феофана Прокоповича, что только в произведениях двух современных витий [Карамзина и Пушкина — В. К.] найдутся образцы, равные ей, этой проповеди XII столетия, простотою и глубиною мысли, величием и красотой слова»³.

Уясняется связь между жанром (ораторская проза) и формой его воплощения (язык) — их взаимодействие определяется строго функционально, а народность («понятность») языка поддерживала художественные достоинства самого жанра: «Дело состоит в том, что по этому учению ораторская речь, следовательно и проповедь, не суть художественные произведения; а, я думаю, напро-

* Статья является авторской переработкой ранее выходявших публикаций — прим. ред.

¹ *Еремин И. П.* Литература Древней Руси. М.; Л., 1966. С. 134—135.

² *Катков М. Н.* Об элементах и формах славяно-русского языка. М., 1845. С. 216—217.

³ *Григорьев А. А.* Литературные и житейские воспоминания. М., 1915. Т. 1. С. 125.

тив того, что можно бы с большею истиною сказать, что всякое художественное произведение есть ораторская речь или проповедь в том смысле, что оно необходимо в себе заключает слово, чрез которое оно действует на умы и на сердца людей, точно так же, как и проповедь или ораторская речь»⁴.

Иначе полагают литературоведы: «[П]ри всем своем несомненном ораторском таланте [...] Кирилл Туровский не имеет, как писатель, резко очерченной физиономии; его сочинения трудно узнать и выделить из массы других — особенно переводных — произведений подобного рода; он примыкает, как известно, к школе византийского церковного красноречия; реальных русских черт он допускал очень немного, и весьма ошибся бы тот, кто пожелал бы составить по его сочинениям более или менее ясное понятие о русском быте [!] в XII в. Такая точка зрения исследователей вопроса о подлинности сочинений Кирилла Туровского заставляла их всегда сталкиваться с трудной, утомительной и почти бесполезной работой теоретических соображений [...]»⁵.

Односторонность такой точки зрения на творчество Кирилла объясняется профессиональной установкой автора на историю жанра как славянской формы выражения известного жанра византийской литературы. Наши современники уже точнее определяют степень зависимости Кирилла от византийских образцов, в том числе и в отношении к форме. Если И.П. Еремин находил лишь небольшое число риторических приемов, свойственных писаниям Кирилла⁶, то Ю. К. Бегунов, включая творчество Кирилла в славянскую традицию, обнаруживает уже более тонкие особенности ораторского искусства Кирилла⁷.

Приточно-иносказательный стиль Кирилла требовал особых форм словесного воплощения. Место метафоры у Кирилла занимает символ (обычно он и заимствован), а развернутой метонимией строится перифраз — это основное средство «перевода» византийской метафорической образности на славянский язык. Эти выводы подтверждаются и лингвистическими исследованиями текста⁸.

Однако литературоведы по-прежнему весьма скептически относятся к самобытности и тем более к художественным достоинствам в произведениях Кирилла. Вслед за В. П. Виноградовым и Ф. Томсон⁹ развивает положение о рабской зависимости древнерусского¹⁰ писателя от византийских источников. Повторяются уже известные упреки в компилятивности его творчества, в чисто риториче-

⁴ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1913. Т. 1. С. 251.

⁵ Петухов Е. В. К вопросу о Кириллах-авторах в древнерусской литературе // СОРЯС. Т. 42. № 3. СПб., 1887. С. 1–33, 4–5.

⁶ Еремин И. П. Литература Древней Руси. С. 132–144.

⁷ Бегунов Ю. К. К стилистике торжественного красноречия: Кирилл Туровский и Григорий Цамблак // Търновска книжовна школа: Велико Търново. 1971. С. 39–51.

⁸ Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 36. 1981. С. 37–49; Супрун А. Е., Кожина А. А. К лексической структуре древнерусского текста: на материале Слов Кирилла Туровского // Проблемы лингвистики текста. Мюнхен, 1989. С. 101–120; и др.

⁹ Виноградов В. П. Уставные чтения. Вып. 3. Сергиев Посад, 1915. С. 97–176; Thomson F. J. Quotations of Patristic and Byzantine Works by Early Russian Authors as an Indication of the Cultural Level of Kievan Russia // Slavica Gandensia. 1983. № 10. P. 65–102.

¹⁰ Под *древнерусской литературой* здесь понимается восточнославянская словесность XI–XIII веков, ставшая впоследствии общей основой великорусской, украинской и белорусской традиций.

ском характере его текстов, в слабости и неоригинальности его языка (прежде всего, конечно, богослов и литературовед под «языком» понимает лексику).

Рассмотрим все эти обвинения пока в самом общем виде. На компилятивность творчества Кирилла первым указал Виноградов. Слова Кирилла построены «по камертону греческих поучений». Однако примеры, приведенные им же, а затем и Томсоном, отражают своеобразие именно Кирилла-автора: Кирилл заимствовал технику и мотив, иногда и композицию Слова, некоторые цитаты из отцов церкви (что также понятно для писателя XII в.: такие цитаты, исполняя роль аргумента в рассуждении, обычно начинают очередной фрагмент поучения или повести). Однако цитирует Кирилл, как правило, не очень точно; это скорее парафраз известной мысли, словесная переработка сопровождается даже канонические цитаты из Писания. Византийский источник Кирилл перерабатывает так, что тот укладывается в сугубо авторский стиль данного жанра в соответствии с возможностями находящегося в его распоряжении языка (ср. сопоставления текста Кирилла с его оригиналами¹¹). Типичный для Кирилла прием раскрытия символа посредством парафраза Виноградов совершенно напрасно называет «аллегорическим комментарием». Отсюда и второй упрек в адрес Кирилла: он якобы «слабый ритор». Это утверждение также несправедливо, поскольку основано на общем взгляде без предварительной разработки текста. В действительности же Кирилл — очень опытный и даже изощренный мастер риторического стиля, но ограниченный возможностями, которые создавал ему литературный язык славян его времени. Необходимо все же различать собственно языковые средства и риторические приемы Кирилла, чего обычно не делают.

Третий упрек, высказываемый Кириллу в том, что язык его произведений «неорганичен», также неоснователен; как раз в отношении языка Кирилл особенно оригинален, для последующих авторов он стал образцом в обработке традиционных текстов и сюжетов.

Защите всех трех тезисов и посвящено все последующее изложение.

2

Начнем с самого внешнего сопоставления. Григорий Богослов, говоря о распространении христианского учения, ограничивался широким сопоставлением с сельскими работами, фактически не упоминая о самом христианстве. Слушатель или читатель как бы домысливают за него, все время проводя развернутую параллель между проповедью нового учения и обработкой пашни. Кирилл ту же линию (фактически повторяя свой образец) ведет как бы в двух измерениях, передавая подтекст словесно хотя и с одним необходимым ограничением, ср.:¹²

<p><i>Григорий Богослов</i> Нынѣ же ратай рало погружаетъ горѣ зря и плододателя призываетъ и подѣ яремь водеть вола орачь и прочертаеть сладкую бразду и надеждами веселиться.</p>	<p><i>Кирилл Туровский</i> Нынѣ ратай слова словесная уньца къ духовному ярму проводяще и крестное рало въ мыслньехъ браздахъ погружающе и бразду покаяния прочертающе... надежами будущихъ благъ веселится.</p>
---	--

¹¹ Виноградов В. П. Указ. соч. С. 109–113.

¹² Все цитаты из произведений Кирилла Туровского и сопоставлений с ними в настоящей статье даны по изд.: Сухомлинов М. И. Рукописи графа А.С. Уварова. Т. II. СПб., 1858.

Приведенные отрывки показывают, чем Слово Кирилла отличается от его оригинала. Повествование, простое и четкое, выраженное именем и глаголом, идет своим чередом и полностью соответствует своему образцу. Такова канва, за пределы которой, кажется, трудно выйти. Однако в то же время и наряду с этим в повествование вплетается также словесно выраженный, но ненавязчиво поданный подтекст, ради которого и сказана проповедь. Он передается с помощью определения, представленного главным образом прилагательным; прилагательное же, являясь именем, в языке XII в. воспринималось как второстепенное имя, назначение которого не называть предмет прямо, а указывать на него косвенно, через свойство или качество, которое в каждом случае может быть индивидуальным, окказиональным, в разной степени выразительным. Особое пристрастие Кирилла к прилагательному, вообще к определению, по-видимому, объясняется возможностью создания полутонов и второстепенного плана, не выходя за пределы наличных грамматических средств и вместе с тем оставаясь понятным слушателю. Не случайно также особое внимание к определению со стороны других писателей средневековья, которые выделяются своим индивидуальным стилем. Вплоть до XVII в. история поисков поэтических средств выражения — это история разработки определения. Именно в этом книжники видели отличие своих произведений от поэтических текстов народного происхождения, в которых опорным словом был глагол, а подтекст исключался.

Возвращаясь к приведенному тексту, отметим еще одну особенность стиля Кирилла. Он избегает сложных, искусственных по своему образованию слов (*плододателя*), предпочитая сочетание слов, а кроме того, устраняет ненужную дублетность (*ратай — орачь*). Вместе с тем в его тексте присутствует лексика условно литературного канона. Из двух возможных вариантов *иго* — *яремь* и *воль* — *унець* Кирилл в обоих случаях выбирает второй, хотя он не всегда соответствует разговорному языку его времени (*яремь* и *унець*); общее орфоэпическое построение текста также возвышенно поэтично (неполногласие, искусственные для русского языка причастия на *-ащ-*, *-ущ-*).

И многие другие сопоставления такого же рода показывают нам, что новаторство Кирилла, стяжавшее ему славу златоуста, лежит в сфере формы. Когда, сравнивая Кирилла с Иларионом и Феодосием Печерским, говорят, что «Кирилл Туровский соединил в своих Словах витиеватость первого с простотой и силой убедительности второго»¹³, имеют в виду, с одной стороны, строгое следование оригиналу с минимальным его комментированием, а с другой — пышный всплеск формы, максимально индивидуальной и ни с чем не сравнимой. И Феодосий, и Иларион творили в эпоху поиска формы для выражения поэтической мысли; в XII в. казалось бы несоединимые стихии трезвой рассудочности и неукротимой эмоциональности создали чеканный сплав прозы Кирилла. Но когда мы задумываемся над тем, в чем первоисточник художественности Кирилла, мы сразу же сталкиваемся с его языком и стилем. Художественное открытие Кирилла и заключается в самом раннем в истории русского литературного языка и весьма последовательном сближении двух языковых стихий — церковнославянской и русской, в чрезвычайно тонком понимании их специфики и пределов использования в художественной речи. Практически в XII в. для древнерусской литературы Кирилл сделал то, что заботило русских писателей

¹³ Владимирова П. В. Древнерусская литература Киевского периода. Киев, 1900. С. 156.

вплоть до Пушкина: каждый из них искал и находил единственно возможное для его времени, для его жанра и для его идеи соединение высокой славянщины и народного слова. Определив это, мы и приходим к выводу, что проблема творчества Кирилла Туровского — проблема по преимуществу лингвистическая. Речь идет не о простой расшифровке стилистической системы Кирилла, не о переводе его текстов на современный язык (чего они действительно требуют); следует понять смысл творческой разработки русского литературного языка XII в. и найти ее отражение в индивидуальном тексте Кирилла. Попробуем показать это на нескольких примерах, по необходимости текстуально ограниченных, но тем не менее выразительных.

Первая особенность стиля Кирилла касается использования отдельных слов, хорошо известных русским читателям и слушателям в XII в. Вот три слова, почти синонимы, попавшие в литературный язык из народного русского или из церковнославянского языка: *жизнь*, *живот*, *житье* (в переводных текстах встречается еще и *жить*, не вошедшее в русский литературный канон и потому не участвовавшее в драматической борьбе за сферы семантического влияния). В русских текстах XI и XII вв. они предстают в неопределенном употреблении, часто смешиваются друг с другом, особенно в переводных текстах (см. Изборники 1073 и 1076 гг.), и фактически являются дублетами без определенной дифференциации в значении и употреблении. У Кирилла эти слова дают строгую иерархию, образуя семантическую перспективу, каждое из них включается только в свой контекст и тем самым получает только свое значение. *Живот* — это вечная жизнь духа, *житье* — это бренное существование тела. Такой дуализм наблюдается во всех контекстах, давая сочетания слов: *живот — вечный, бесконечный, будущий, райский*; наоборот, *житье — мирское*, это бытие телесное, которое иногда, в ряде контекстов, уточняется как определенная форма существования, например, *келейное, иноческое, мирское, мнишское* и т.д. и т.п. *житье*. Поэтому, когда речь заходит о *животворном* (*духе, древе* и т. д.), Кирилл употребляет слово *животный*, а не *житейский*. Третье слово данного ряда как бы покрывает своим значением два предыдущих: слово *жизнь* возможно в сочетании и с прилагательным *вѣчная*, но это также и *сия жизнь*, т. е. жизнь на земле. Тем не менее, благодаря совмещенности и тем самым многозначности слова *жизнь* общий смысл слова не связан с бренным существованием тела; общее значение слова во всех представленных Кириллом текстах — ‘дух в теле’ одухотворенное тело, человеческое тело. Перед нами своеобразный семантический синтез слов *живот* и *житье*, который, по-видимому, и сохранил нам в качестве литературного именно этот вариант данного синонимического ряда.

Кроме Кирилла, никто из писателей XII в. не представляет такого соотношения данных слов столь ясно и четко. В церковнославянских текстах они также выступают в роли механических дублетов, не имеющих каких-либо семантических или хотя бы контекстуальных различий. Индивидуальное использование Кириллом данного ряда слов подтверждается не только сравнением его словоупотребления с современным литературным языком, но и сопоставлением с некоторыми текстами XI в. Так, в «Слове о законе и благодати» Илариона *жизнь* — вечная жизнь духа (сочетания с *вечная, нетленная, будущая* и т. д.), а *живот*, напротив, — земная жизнь тела (в том числе и жизнь Иисуса). Поэтому у него и *путь животный*, и *книги животные* (а не *жизненные*). Третье слово он употребляет только дважды, оба раза в значении ‘форма существования’ (*по-*

учиноу жития прѣплоути, злаго ради жития, ср. еще житийския печали). Подобное соотношение слов *живот* — *жизнь* больше соответствует позднейшим изменениям в русском языке, что подтверждается и характерными сочетаниями производных прилагательных, ср.: *животный порыв, животное* (характеристика плоти), но *жизненная идея, жизнетворный* и др. (характеристика духа), но не наоборот. У Феодосия также *житье* и *живот* — дублиеты, одинаково означающие телесную, земную жизнь и одинаково противопоставленные *жизни вѣчьнѣи*. В тексте Илариона точнее отражено общерусское соотношение слов, позже ставшее литературным; дублетность слов *житье* и *живот* указывает на то, что одно из этих слов в XI в. было заимствованным из древнеславянского литературного языка. Кирилл неожиданно нарушает, казалось бы, устоявшееся соотношение, противопоставляя *живот* *житью* и синтезируя их в одном, общего значения, — *жизнь*. С одной стороны, такое распределение лежит в русле всех прочих попыток Кирилла строить текст своеобразными триадами, с другой — перед нами творческая попытка пойти дальше предшественников, расколоть остававшуюся дублетность слов *житье* и *живот*, используя их в своих художественных целях.

Особенность словесного искусства Кирилла вообще заключается в характерном для него попарном противопоставлении однозначных слов. С одним связывается материальное, земное, с другим — духовное, небесное. Во многих отношениях подобные противопоставления обусловлены столкновением русского и церковнославянского языков, давшим писателю своеобразные дублиеты для выражения одного и того же понятия. Однако в некоторых случаях такое толкование было бы слишком прямолинейным, например в отношении к паре *благъ* — *добръ*. *Добръ* всегда употребляется в сочетании со словами типа *тело, жизнь*, обозначая качество предмета; наоборот; *благъ у* Кирилла — это *дух, бог*, нечто неземное, обозначает качество духа и вообще суть явлений. Такое противопоставление принадлежит не только Кириллу; в неявном, не столь определенном виде оно присутствует и у других древнерусских авторов и переводчиков. Нельзя сказать, что эта пара — простое противопоставление русского слова *добръ* (обозначает все язычески земное) церковнославянскому *благъ* (связано со всем божественно небесным), поскольку и в церковнославянском языке было слово *добръ*, и для русского языка характерно слово *благо* — в другом, русском, его произношении (*болого, бологъ*). Механистическое расслоение: *благъ* — церковнославянизм с «высокой» семантикой, *добръ* — русизм с более житейской сферой употребления — кажется неудачным, несмотря на широкое распространение именно такого взгляда в современной литературе. Стремление исследователей во всех аналогичных случаях (*глава* — *голова, град* — *город, благо* — *болого, время* — *веремя*) видеть церковнославянизмы в русском языке учитывает только форму слова и ничего не говорит об отношении этого слова к общей лексической системе языка, в котором происходило подобное совмещение русского и церковнославянского пластов лексики. Только конкретно-историческое исследование творчества отдельных авторов такого уровня, как Кирилл Туровский, позволит определенно решить вопрос о пределах распространения и функции неполногласных церковнославянизмов в русском языке. Неполногласие в *благо* — это конечный результат длительной и устойчивой связи слова с высоким контекстом и с тем семантическим рядом, которым этот контекст в конечном счете определялся; эта связь постепенно устранила соотношение данно-

го значения с русским *болого*, что навсегда связало, его с заимствованной формой *благо*. *Благо* — церковнославянизм не из-за фонетического по своему характеру неполногласия: наоборот, само неполногласие является результатом закрепившегося только в высоком стиле значения. В такого рода перераспределениях между значением и звучанием двух дублетов разного происхождения важна роль образцовых писателей, чутко улавливающих не только семантические, но и стилистические аспекты происходившего «перетекания» смысла из одной формы в другую; только художник в состоянии уловить ту пропорцию этого соотношения, которая необходима в каждом конкретном контексте.

Возвращаясь к стилю Кирилла Туровского, следует, отметить еще одну его особенность. Широкая лексическая синонимия, возникающая при столкновении русского и церковнославянского языков, позволяет автору варьировать средства выражения при передаче той или иной мысли. Уже частотность употребления тех или иных слов в произведениях Кирилла оказывается весьма знаменательной. Так, из глаголов говорения, кстати сказать, очень частых в речи Кирилла, особенно выделяются *глаголати* и *речи*. Это глаголы, передающие значение речи в его «чистом» виде; со стилистической точки зрения они характерны тем, что одинаково представлены (и притом в одинаковых значениях) и в русских, и в церковнославянских памятниках. Таким образом, это общеславянские слова, которые тем самым ни в каком контексте не имеют и не могут иметь никакой стилистической окраски. Тем не менее Кирилл различает и эти глаголы. *Глаголати* служит только для введения прямой речи, употребляясь около 150 раз в примерах типа *и гла(гола)ша: человека не имамъ*. Только в считанных случаях, в евангельских цитатах, этот глагол передает непосредственно процесс говорения (*что се глаголете, о фарисеи?*). *Речи* также может вводить прямую речь (около 30 раз), но вообще его функции гораздо шире: этот глагол может употребляться в самых разных сочетаниях, может быть вводным словом (*сирѣчь, паче же рещи, рекъ* и др.), указывать на процесс говорения и т. д., но всегда только во вспомогательном контекстуальном значении и лишь в тех случаях, если не требуется специального выделения слова, находящегося за пределами авторского внимания (ср.: *но испытаем его добре, рѣша, взовемъ еще и второе прозревшаго...*). Если же из общей ткани повествования требуется выделить глагол говорения, если именно на нем акцентируется внимание автора, то ни *глаголати*, ни *речи* не употребляются. Тогда вместо них, стилистически и функционально нейтральных, самых общих по значению глаголов говорения, появляются стилистически окрашенные, частные по значению глаголы типа *возглашает, вопиет, возвещает, поведает, беседует, сказывает* (т. е. 'истолковывает') и др. В таком случае процесс говорения передается подобным красочным глаголом, тогда как *глаголати, речи* уходят на второй план, оставаясь вспомогательным средством выражения мысли; *исповѣмъ бо, рече, на мя безакония моя* — вводное *рече* однозначно указывает на речь ('сказал'), тогда как *исповѣмъ* многозначно, оно сохраняет и исконное значение корня 'знать, сознавать' и вместе с тем в сочетании с приставками имеет уже значение 'признаться, рассказать'. Аналогично положение в текстах Кирилла и другой частой в употреблении глагольной лексики: все, что встречается часто, стилистически не маркировано и потому используется как фон описания, является словесной тенью на заднем плане. Художественную функцию несут только редко употребленные, но зато многочисленные близкие по значению слова, вступающие в синонимические отношения друг с другом и с «фоновыми» опорными сло-

вами, не несущими художественной нагрузки. Если учесть, что в древнерусских текстах само противопоставление *речи* — *глаголати* также может использоваться в художественных целях (*глаголати* — стилистически маркированный по отношению к *речи* как более многозначному, общему для всех славянских языков и универсальному по употреблению глаголу), станет ясным, что данное в текстах Кирилла распределение стилистических тонов и полутонов также является индивидуальной особенностью этого автора.

Так обстоит дело с выбором слов. Но Кирилл — мастер слова и в оформлении целого текста, в использовании слова как части текста. Легко заметить, что все его тексты как бы сотканы из своеобразных триад — троичных повторений одного образа, слова, значения или определения. Сама композиция его Слов, как это заметил и описал И.П. Еремин, трехчастна: вступление в тему, повествование — содержательная часть, заключительные хвалы. Ориентация на сакральное число три и следование ему на всех уровнях поэтического текста придают этому тексту переменчивый ритм, позволяя вместе с тем «тонко» варьировать каждую частную тему, вводимую в ткань Слова, — одну за другой, волнами, неутомимо и настойчиво, используя все возможности образа и слова. Поэтому общее впечатление от Слов кажется двойственным. С одной стороны, изложение как будто статично, это мелкие мазки, из которых складывается общая картина. С другой стороны, всегда присутствует впечатление действия, динамики, ритма. Покажем это на нескольких примерах разного типа.

Старци быстро шествоваху да б(ог)у поклоняться...

отроци скоро течаху да прославят...

младенци яко крилати окрестъ Ис(ус)а парящее вопияху...

(Слово на Вербницу)

В подобном построении можно наблюдать типичный пример нагнетания образа троичным членением текста. Автор воспользовался возрастными различиями своих «персонажей» и подал каждый возраст отдельно, отстраненно от другого, все более увеличивая темп движения в зависимости от возраста: *быстро* — *скоро* — *крылато* и параллельно с тем *шествоваху* (с достоинством и неторопливо) — *течаху* (бурной массой и стремительно) — *крылато парили* (даже оторвавшись от земли). Сюда же влетает и градация по цели: *поклонятся* — *прославят* — *возопят*. Возникает троичное усиление, идущее параллельно: характер движения (глагол в форме имперфекта указывает длительность прошлого действия), цель движения (глагол в повелительном наклонении и имперфект *вопияху*, показывающий нетерпение «младенцев», которые приступили к хвалам еще на пути к святилищу), ритм движения (передан нарастанием наречных форм); неуклонное повышение тона до звенящего с последующим обрывом и приступом к очередной триаде. Фактически значение приведенной триады шире, поскольку здесь не приведены побочные линии изложения, например вариации слов *Богъ* и *Иисусъ*, вплетающиеся в текст на правах объекта действия.

Может показаться странным столь тонкое сплетение повествовательных линий в одну фразу. Следует поставить вопрос: не случайное ли это совпадение? Предварительные разработки показывают, что говорить о случайности не приходится. Начать с того, что в тексте не использованы другие возможные для древнерусского писателя слова. Здесь нет слова *борзо* — а это типичный русизм, невозможный в южнославянском тексте; по этой причине автор и не решается ис-

пользовать слово *борзо* в столь высоком по стилистическому заданию тексте. Однако вместе с тем определение *крилати* также является русизмом, в южнославянских вариантах ему обычно соответствует слово *пернати*. Тем не менее Кирилл предпочитает *крилати*, и совершенно правильно: только это слово и допустимо в данном тексте, поскольку речь идет о быстроте движения, а не о характеристике «персонажей» (яко *крилати*, но на самом деле крыл не имеющие).

В другом случае дана последовательность действий, которые каждый раз уточняются все новым синонимом, но это не точный синоним, каждый раз он привносит в контекст какое-то новое значение:

(спутник) приведе къ велице горе, имуци многа и различная оружия, въ неи же узреста зарю светлу, оконцемъ из пещеры исходящу. И прикинувшиа къ оконцу тому, видеста внутрь вертепа жилище... Сия вся соглядавъ, царь призва своя друзья и рече къ нимъ...

Представляется, что основное действие здесь связано не с движением (*привел* — *прикинул* — *призвал*), хотя я оно градуирует по принципу сужения действия. В центре авторского внимания — зрительный образ, в котором перекрещиваются и субъект, и объект действия, и характеристика самого действия: *заметил* — *посмотрел* — *увидел*. Последовательность передана разными глаголами с одним общим значением, но каждый последующий все более конкретен. Описание как бы панорамирует: широкий план, средний план, крупный план. Одновременно как бы укрупняются объекты рассмотрения: пещера вдаль — оконце в ней — ограниченные рамкой окна предметы и лица в пещере. Такова динамическая структура текста. Действия оказываются неравнозначными и с грамматической точки зрения: *узреста* — моментальное завершённое действие, *видеста* — более важное длительное действие, смысл высказывания и оправдание всего текста вообще; после того, как это рассмотрение закончено, автор употребляет уже не личную форму аориста, а причастие *соглядавъ*, которое также передает завершённое действие, однако второстепенное по отношению ко всем предыдущим «точкам зрения». Это отстранение личных форм от причастия совершенно оправдывает использование Кириллом на фоне общеславянских (в том числе и старославянских) *зрети* и *видети* также более редкого глагола *глядети*, который обычен для моравопаннонских и древнерусских текстов (переводных и оригинальных; старославянские рукописи, кроме «Супрасльской рукописи» XI в., обычно избегают этого слова). «Неканонические» слова Кирилл, как правило, использует для воссоздания заднего плана своего повествования, органически вплетая их в общую ткань текста, но не выдвигая вперед. Чтобы яснее представить себе характер стилистической разработки в текстах Кирилла, всегда органически связанной и с темой конкретного повествования, и с присущим ему индивидуальным стилем, сравним приведенный отрывок с древнеславянским переводом «Истории Варлаама и Иоасафа», ставшим источником для данного описания Кирилла. Тексту Кирилла в этом отрывке соответствует следующее:

Видѣста, свѣта зарю от(ъ) нѣкоего оконца сияющоу и на сѣю зряще, приидоша и видѣста подѣ землю нѣкое яко пещероу жилище, въ неи же сѣдяше моужь... Суции же съ ц(а)ремъ на мнози таковыхъ смотряюще дивляхоуся... и рече ц(а)рь первосвѣтникуоу своемоу...

Именно этот перевод соответствует греческому оригиналу, в частности, содержит интересующие нас глаголы: *ειδον και ταύτη τούς οφθαλμούς επιβαλόντες βλεπούσιν ...επι ὄραν ικανῆν ταυτα κατανοούντες εδιδύμαζον...* Этих глаголов, следо-

вательно, значительно больше, чем три, и они могут повторяться в тексте. Пластичность изображения у Кирилла достигается также единством образа действующего лица: все три глагола связаны с описанием действий царя (его одного или со спутниками), тогда как в оригинале действие перебивается: то царь, то сущие с ним. У Кирилла именно царь ведет действие, все остальные персонажи находятся возле него, то удаляясь, то приближаясь к нему. Так с нагнетанием синонимов возникает как бы разложение одного и того же действия (царь и его приближенные смотрят) на ряд составляющих это действие моментов. Типологическую параллель этому представляет моравопаннонский перевод Жития святого Вита:

*Рече же о(т)ць его: б(о)зи придоша въ храмъ, и въсмияся • и оконьцьмъ глядаше въ клѣтъ яко свѣтяше ся • отвъръзоста же ся очи емоу и видѣ • *3 анг(е)ль стояць окръсть отрочате*

(Успенский сборник XII в. Л. 126а).

Здесь также представлено тройное расслоение одного и того же процесса «смотрения», однако с иной образительной заданностью. Недоверчивое взглядывание в оконце сменяется как бы насильственным, со стороны, раскрытием глаз, после чего начинается собственно само смотрение. Своеобразие этого текста заключается в том, что здесь два «неканонических» выражения противопоставлены одной нейтральной форме (*видѣ*), тогда как у Кирилла, наоборот, нейтральные по семантике и стилистике глаголы *зрети* и *видети* ведут действие, а «неканоническое» слово уходит на второй план. Это также характерно для Кирилла, обычно предпочитающего нейтральный или высокий стиль низкому, приземленному.

Очень часто триада-связка несет с собою внутренний, потаенный, смысл, понятный посвященному, но требующий интерпретации теперь. Вот начало заплачки Богородицы из Четвертого Слова:

Свѣтъ мои и надежа и животъ, Сын и Бог, на древе угасе.

Свет, надежда, живот — это символическое изображение знания, веры и жизни, обычная христианская символика, которую ниже, в следующем отрывке заплачки, варьируя эту мысль в новой триаде, автор как бы расшифровывает, возвращаясь к ней еще раз:

ныне мое чаяние, радости же и веселия, Сына и Бога, лишена быхъ.

Соотнесены *надежа* — *чаяние* (русизм *надежа* и болгаризм *чаяние*), русизм *живот* — с описательной и книжной передачей той же вечной жизни: *радость* и *веселие*. Иногда внутренний смысл триады от современного читателя настолько скрыт, что только скрупулезное изучение всего лингвистического контекста с непременным учетом троичности каждого построения может помочь в расшифровке текста. Здесь мы сталкиваемся примерно с тем же положением, что и в случае с уже изученной Д.С. Лихачевым стилистической двучастностью псалтырных текстов, построенных по принципу антонимических, противопоставлений («стилистическая симметрия»)¹⁴. В качестве примера рассмотрим возникающие при этом трудности интерпретации на одном отрывке — на самых первых словах Первого Слова Кирилла Туровского:

*Велика и ветха сокровища,
дивно и радостно откровение,
добра и сильна богатства...*

¹⁴ Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 168 и след.

«Вступление — часть речи, которой Кирилл Туровский придавал, и не без оснований, большое значение: текст хранит следы очень тщательной, заранее обдуманной работы, Кирилл, конечно, не мог не понимать, что успех речи в значительной мере зависит от того, как вступление будет построено. Здесь надо было сказать нечто такое, что, не предвосхищая содержания Слова, тем не менее, могло положить ему основание, притом сказать так, чтобы сразу же привлечь внимание слушателей, заставить их насторожиться»¹⁵. Это оправдывает и наше особенное внимание к вступлениям в поэтическую тираду Кирилла Туровского.

В приведенном вступлении ритм налицо, он содержится уже в попарном повторении грамматических типов слов — прилагательных и существительных. Однако в целом эта фраза воспринимается чисто риторической: звучная увертюра к теме, не больше. Потускневшие к нашему времени семантические характеристики слов только отдаленно напоминают об этой силе: здесь все масштабно, крупно, монументально. *Великий... дивный* (т. е. божественный)... *сильный*... Пожалуй, в современном языке трудно подыскать соответствующие этому поэтическому тексту эквиваленты; может быть поэтому мы и не воспринимаем его поэтичности.

Первое, что останавливает внимание: попарное сочетание именно данных определений необычно для древнерусских текстов, представляет собою как бы излом традиционных, столь обычных в то время и любимых проповедниками парных конструкций. В употреблении подобных дублетов (синонимов) можно установить по крайней мере три типа. Первый, самый простой, — это соположение синонимов или дублетов, используемых для усиления поэтического эффекта; так, неизвестный переводчик (или переписчик?) апокрифического «Откровения Авраама» ставит рядом слова *жертва треба*, чтобы усилить отрицательное отношение героя к языческому жертвоприношению. Такой неловкий прием неприемлем для Кирилла. Это чисто внешний поиск формы, вдобавок русское слово *треба* и церковнославянское слово *жертва* у Кирилла дифференцированы в соответствии с общим дуализмом его поэтического языка, ср.:

*днесь... вся новая господеви приносится: ... и от крестьянь **требы**, и от цереи с(вя)тмя **жертвы**.*

Налицо противопоставление крестьянской *требы* освященной жертве (хотя слово *крестьяне* здесь, конечно, употреблено в исконном значении ‘христиане’).

Второй возможный в древнерусской литературе тип усиления — это традиционный штамп, переходящий из текста в текст. Обычно в таком штампе соединяются близкие по значению, но различные по стилистической функции слова, которые, дополняя друг друга, как бы усиливают поэтический эффект речи: *радость и веселие, дивно и славно, добро и лѣпо, сильна и славна, велика и славна, ветха и древня*... Уже из перечисления видно, что именно таким типом сочетаний и воспользовался Кирилл в своей тираде, однако с одним отклонением: он перемешал внутренние связи, ассоциации, которыми опутаны были в глазах его современников указанные соединения слов, становившиеся от частого употребления штампами. Он убрал дублетность. *Велика и славна, дивна и славна, сильна и славна* — в каждом из этих сочетаний непременно присутствует в качестве составной части слово *славна*, оно привычно входит в данный

¹⁵ Еремин И. П. Литература Древней Руси. С. 135.

набор штампов, оно и воспринимается в данном тексте как заложенное в его подтексте — на основе обычной ассоциации, связанной с частым употреблением подобных сочетаний. Слово славил безболезненно можно было убрать, поскольку оно само по себе предполагается и представляется в каждом элементе триады. Так возникает необычное для древнерусского текста соединение слов: *велика и ветха*; особенность этого типа сочетаний в том, что в подтекст уходит не только второстепенное значение каждого из слов сочетания (как в случае *веселие и радость*), но также и основное значение общего для двух прежде самостоятельных сочетаний *велика и славна*, *ветха и славна* слова *сокровище*. Вместе с тем это и намек на хорошо известное сочетание *ветхий великъ день* 'древняя, еврейская пасха' (отмечено, в частности, уже у Иоанна экзарха Болгарского) — небольшой излом сочетаний, за которым скрывается и общий смысл темы (в этом Слове речь идет об Антипасхе).

Если рассмотреть значение каждого слова, входящего в сочетание, можно обнаружить еще одну закономерность: все они кроме общего славянского (обычного также и для церковного языка) имеют также и новое, характерное только для русского языка (уже в XII в.) значение (или оттенок значения). *Великъ* наряду с исконным значением 'большой, огромный' получает значение 'значительный, замечательный'; по-видимому, в XII в. это был всего лишь контекстуальный оттенок значения, но он обнаруживается уже в Новгородской I летописи (самый древний летописный текст): *от мала до велика* 'от меньшего до большего' и вместе с тем *от велика до оубога* 'от замечательного до незначительного'. *Ветхий* в русских текстах — не только 'старый', что является исконным значением слова; проявляется уже и новое, ставшее впоследствии основным для русского языка значение 'ветхий, дряхлый' (широко представлено в ранних записях той же летописи, а также в «Русской Правде», в «Сказании о Борисе и Глебе», в «Хождении игумена Даниила», в переводных памятниках домонгольской Руси). Ср. в древнерусском переводе «Пандектов Никона Черногорца» описание двух вдов, одна из которых одета в *ветхы ризы*, а другая — в *добрыхъ ризахъ*; противопоставление, таким образом, идет по линии 'ветхие, дряхлые' — 'хорошие, добротные', а не 'старые' — 'новые' (последнее см. в евангельском тексте; *мехи новые* противопоставлены *мехам ветхым*). Таким образом, в традиционном сочетании, начинающем Слово, русский читатель XII в. мог прочесть и осознать как бы наслаивающийся на традиционные значения слов и собственно русский подтекст: не только 'большое древнее сокровище', но и 'значительное дряхлое... скрытое'.

Дивно и радостно откровение в восприятии того же русского читателя XII в. также оказывается многозначным сочетанием. Исконное значение первого слова связано с непознаваемым, поражающим воображение божественным бытием (ср. *Дивъ* с литовским *dievas*, древнеиндийским *dēvās*, латинским *deus* и т. д. с одинаковым значением 'бог'). В древнерусском переводе «Жития Василия Нового», например, встречаем *дивный градъ*, *дивный и страшный градъ* в значении 'рай', все употребления слова в этом памятнике связаны с небесами и небесной жизнью. Общее значение 'удивительный' обычно для русских текстов XI-XII вв., и только в некоторых местах «Пандектов Никона Черногорца» можно обнаружить новый для слова оттенок значения: 'славный, знаменитый' (некоторые подвижники называются безразлично то славными, то дивными, то чудными). Подтекст в Слове Кирилла создается уже самим разложением привычных

сочетаний *дивно и чудно, дивно и славно, радость и веселье*: вторые члены таких сочетаний, оставаясь за пределами текста, домысливаются любым начитанным книжником. Таким образом, *дивный* — это и ‘божественный’ и ‘удивительный’, и вместе с тем для русского в XII в. также ‘славный (знаменитый)’. *Радостно* было связано, как правило, со словом *веселье* и обычно обозначало ‘чувство веселья’. Из этого постепенно вычленяется дополнительное значение ‘чувство удовлетворения’, а в расхожем сочетании *радость и веселье* между обоими синонимами постепенно распределяются разные оттенки значения: *радость* — это удовлетворение, (обычно одного или каждого в отдельности участника праздника), *веселье* — это ликование (и потому всех участников праздника совместно). Метафорическое обозначение праздника стало связываться именно со вторым словом сочетания, ср. в древнерусском переводе Книги Эсфирь синонимическое употребление *дние веселья* и *день добръ* в одинаковом значении ‘праздник’. Тот же текст показывает, что к концу XII в. слово *радость* настолько отошло в своих значениях от своего первоначального дублета *веселье*, что потребовалась его замена другими словами; Книга Эсфирь в этом случае дает слово *охвота, охвотень* ‘радость, удовольствие’, ср.:

и выниде Аманъ въ д(е)нь весель и охвотномъ с(е)рдцемъ; градъ же Су-санъ оухвотися и възвеселися и др.

Таким образом, наряду со свойственным церковнославянскому языку значением ‘ликование’ слово *радость* в русском языке XII в. получает дополнительное, впоследствии ставшее основным значение ‘чувство удовлетворения’. Поэтому в приведенном отрывке из Слова Кирилла можно усмотреть не только прямое значение ‘ликующе’, но и скрытое, потайное — ‘удовлетворяющее’.

Аналогичные наслоения можно видеть и в сочетании *добра и сильна богатства*. *Добро* уже у Владимира Мономаха имеет значение ‘богатство, имение, благо’ в широком и материальном смысле, который и привносит в контекст это новое для слова добавочное значение. Игумен Даниил также неоднократно отмечает, что, например, *Ефесъ* (а также Самария и т. д.) *же градъ есть на Сусъ... обилень же есть всъмь добромъ*. Уже у Феодосия Печерского можно предполагать такое значение слова, ср.: *не чюхъ себе ничсоже добра приискавше, но токмо мьи бдѣнья бо и пощеня*.

Слово *сильный* даже по «Материалам для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского имеет более 15 оттенков значения, кроме исконного ‘мощный, могучий, властный’, которое и в данном случае следует считать основным. Специально русским, достаточно рано выделившимся значением этого слова является значение ‘обильный, пышный, богатый’ — соответствующие иллюстрации приведены И.И. Срезневским из «Ипатьевской летописи» под 1147 и 1187 гг.

Учитывая все это, и данный фрагмент Слова Кирилла мы можем истолковать двояким образом: буквально ‘благое и могучее богатство’ и переносно ‘имение... изобилие... богатство’. Снова в подтексте наблюдаем как бы избыточное повторение одного и того же мотива, но в отличие от предшествующего сочетания с риторической градацией вверх. Может возникнуть сомнение в правомерности тех интерпретаций, которые сделаны выше; на первый взгляд они кажутся столь же поразительными, что и известные градации в тексте «Хождения Афанасия Никитина», лингвистически расшифрованные Н.С. Трубецким¹⁶. Од-

¹⁶ Trubetzkoy N. S. Three Philological Studies. Ann Arbor, Mich., 1963.

нако, допуская известную условность произведенной расшифровки (для более точной у нас пока нет необходимых материалов сравнения), повторим, что каждый элемент такого членения текста оказывается возможным обосновать вполне объективно — множеством словарных параллелей из древнерусских текстов. В частности, в последнем случае: почему Кирилл употребил именно слово *добро*, а не эквивалентное ему *благо* или, например, *велико благо* и *велико богатство* — сочетание, которого мы ожидали бы от ординарного проповедника, вполне допустимое в XII в. и обычное для древнерусских текстов. Однако слово *велико* уже употреблено в той триаде, в которой оказалось нужным зашифровать общий смысл ‘значительности, величины’; *благо* же в этих триадах не используется вовсе, ибо оно чересчур однозначно и для подтекста, русского по своему замыслу и характеру, не годится: это церковнославянизм. В данном отрывке вообще нет нерусских слов, слов, которые не могли бы нести с собою необходимого для воплощения авторского замысла вторичного или переносного значения. Выбор слова лимитируется поэтической заданностью. Так образуется второй план подтекста: кроме предполагаемого читателем включения в текст опущены автором слов (см. сказанное выше о последовательной связи с опущенным словом *славный*), появляются еще чисто семантические (первоначально, может быть, стилистические) возможности подтекста, понятные только русскому читателю или слушателю XII в. Однако внешним установлением этого не исчерпывается стилистическая характеристика нашего примера.

Теперь, когда кажется ясным смысл и подтекст каждой отдельной триады, соединим их вместе. Общее значение первой, трижды обоснованное в подтексте и вместе с тем связанное с традиционным текстом, — *сокровище (скрытое)*; общий смысл второй триады — *откровенно (открыто)*, третьей — *богатство*. Итак, *сокровище открыто*, (и это —) *богатство* — христианская пасха не в пример иудейской; ср.: *велика и ветха сокровища* ‘большое и древнее сокровище’, *дивно и радостно откровение* ‘удивительное и радостное откровение’, *добра и сильна богатства* ‘благое и могучее богатство’, со следующим подтекстом (соответственно по строкам):

‘значительное... дряхлое...сокрытое...’,

‘удивляющее... удовлетворяющее... открывающее...’,

‘имение... изобилие... богатство...’.

Единственная условность, которую мы себе позволили, заключается в выборе части речи, данной в толковании подтекста: прилагательное — причастие — существительное. Это сделано намеренно, чтобы дополнительно передать ту восходящую градацию образа, которая, несомненно, в нем заключается, но иными средствами на современный язык уже непередаваема. **Дано:** *значительное*, но уже *ветхое*, *сокрытое* в дали времен — сокровище. **Действие:** *поражающее* воображение и мысль, *удовлетворяющее* всем чувствам, *открывающее* неизведанное — откровение. **Результат:** *имение... изобилие... богатство* — христианская Пасха. Соотнесение компонентов триад возможно и по вертикали, хотя тут уже нет полной уверенности в том, что таков был и авторский замысел (при слушании Слова четко воспринимается только линейное членение мысли и текста), однако «выход на вертикаль» весьма знаменателен: *значительное* — *удивляет* — *имение*, *дряхлое* — *удовлетворяет* — *изобилие*, *сокрытое* — *открывает* — *богатство*. Эта трижды три раза повторенная, как в преломлении зеркала, мысль относится к восхваляемому в Слове празднику и явля-

ется гонгом, призывающим к разворачиванию темы. Затем идут уточняющие детали того же вступления, опять-таки построенные по триадам: о строителях этого праздника, о его характеристике, и т.д.

Такова увертюра, с подтекстом и варьированием темы, рассчитанная на искушенного и обязательно русского слушателя. Ниже, в содержательной части Слова, Кирилл уже не столь причудлив в построении образа, там он не придает столь существенного значения форме, изощренной, временами неясной и избыточной в мерцании словесных теней и неожиданных ассоциаций. Там форма блекнет, чтобы не затушевывать смысл изложения, не затруднять его восприятия.

Приведенные примеры иллюстрируют направление творческой работы Кирилла над словом: работа тщательная, но не ради формы. В отличие от многих писателей XII в. Кирилл — в высшей степени автор, а не компилятор, и потому его текст можно и нужно изучать как индивидуально авторский. Это повышает его значение и при изучении русского литературного языка XII в. В этих текстах происходило двоичное, вызванное столкновением русского и церковнославянского языков попарное противопоставление слов, таких, как *нищий* — *убогий*, *благо* — *добро*, *радость* — *веселие*. Имея этот материал, Кирилл умело сплетает из него текст, построенный таким образом, чтобы каждое слово независимо от своего происхождения получило какой-то один, обязательно свой и притом поэтически оправданный смысл. Единственное, лежащее на поверхности средство для достижения этого — соединять попарные связи с каким-то третьим, близким по значению элементом, который бы нейтрализовал стилистически непримиримые антиподы. Для этого годились и разложение устойчивых сочетаний, и выбор слова с новым значением, возникающим на русской почве из исконного славянского. Триада Кирилла своим происхождением вряд ли связана с сакральным для христианства числом *три* — это необходимость художественного решения, вызванная состоянием литературного языка. Да и преувеличивать значение триад не приходится, хотя приведенные примеры как будто указывают на универсальность их в творчестве самого Кирилла: три уровня лексической, описательной наглядности в тексте (*речи* — *глаголати* — все остальные глаголы говорения), семантические триады (*живот* — *жизнь* — *житье*), троичное усиление как гиперболизация темы (*велика и ветха сокровища...*), тройкий уровень представления действующих лиц или движения. Общий принцип пластичности изображения, использованный автором, — это смена однообразных, сфокусированных или, наоборот, расширяющих перспективу картин, лиц или действий, создающих при воспроизведении иллюзию движения. Мультипликационный принцип построения текста — характерная особенность древнерусской литературы, но у Кирилла она достигает наибольшей зрелищности и выразительности именно потому, что Кирилл Туровский не выходит за пределы однажды заданного ритма и умело использует все возможности современного ему литературного языка. Глубинную структуру его текста подчеркивают сравнения с другими текстами, проведенные выше.

Мастерство и вместе с тем значение Кирилла для последующей разработки литературы и литературного языка заключаются в том, что он открыл важный для художника слова принцип: несообразности и внутреннюю противоречивость языка, как правило, представляющего двоичные противопоставления, он искусно устранил в художественно проработанном тексте, где имеется возможность совместить все словарные противопоставления в синонимическом

ряду. Говоря о компилятивности творчества Кирилла в содержательном плане, т. е. признавая зависимость этого церковного писателя от традиционных сюжетов, характеристик, композиций и т. д.¹⁷, следует отметить оригинальность и чисто русскую по воплощению традиционных схем художественную форму Слов Кирилла. К этому должны быть устремлены и интересы исследователя.

3

Сопоставление текстов Кирилла с возможными оригиналами его произведений показало своеобразие его как художника слова. Более того, ясно осознаваемое единство текстов Кирилла определяется некоей семантической установкой, которая, впрочем, понятна и не выходит за пределы средневековой книжной традиции. Это противопоставление небесного, Бога, всему земному и низменному. Выбор слов, их семантическое развитие, возможные стилистические варианты определялись дуализмом воплощений добра и зла.

Символический смысл имен конкретного значения опирается у Кирилла на прямое значение слова.

Так, *звѣзда* у него: 1) «небесное тело», 2) «(небесное) светило» — и только потом 3) «звезда (вифлеемская)» — знак рождения Христова. Ср. соответственно: *слнце не стоя горить и луна страхомъ не сияеть, звѣзды хытростию текоуть* (Мол. 177, 21-22)¹⁸; *тебе ради солнце свѣтомъ и теплотою служить, и луна съ звѣздами ноць обѣляеть* (V, 333, 37-39)¹⁹; в соответствии с тем же текстом по «Супрасльскому сборнику» XI в. — 81, 13 — здесь стоит **яко звѣзды** (*ως φωστρες; luminaria*, т.е. «светило») — «о знамени звезды» (VIII, 346, 29; VI, 340, 4 и др.) — только в последнем случае употребляется форма единственного числа, как и подобает слову в символическом значении. Семантический переход с заключительным символическим значением был бы непонятен как символ без посредствующего звена, которое и «держит» символ в пространстве текста.

Звѣрь: 1) «животное», 2) «(дикое) животное», «дикий (человек)», ср.: *тебе ради рѣкы рыбы носить, и пустыни звѣри питаетъ* (V 333, 41); затем — повышение степеней отвлеченности посредством выделения собирательности: *нъ акы звѣрие на оружьника нападыше отбѣгоша* (V, 334, 16-17), *да не в адьстѣи устанемъ пустыни и тамо геоньскыи растерзани будемъ звѣрми* (2, 354, 14-15). Переход от собирательного имени *звѣрье* через возможные в тексте формы прилагательного (*после зубы звѣрины*», VI, 339, 8-9) к обычному уточняющему определению (*геоньскыя звѣри*) также показывает усиление степеней отвлеченности: речь идет уже не о конкретных зверях (их всегда много), но об их

¹⁷ См.: *Виноградов В. П.* О характере проповеднического творчества Кирилла, епископа Туровского // В память 100-летия Московской духовной академии. Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915. С. 315.

¹⁸ Молитвы Кирилла Туровского цитируются по изд.: *Рогачевская Е. Б.* Цикл молитв Кирилла Туровского: тексты и исследования. М., 1999 (с обозначением страницы и строки в скобках).

¹⁹ *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 11–13, 15. М.; Л., 1955–1958. С. 342–367, 340–361, 409–426, 331–348. Все ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках с обозначением номера Притчи арабской, номера Слова римской цифрой; указаны также страница и строка издания.

злобной силе. Лишь на этой основе рождается и следующий уровень символики: *Сльши, Арию, безглавный звѣрю, нечистый душе, оканьный человекче...* (VIII, 345, 28-29). За этим выступает уже чисто символическое представление об апокалиптическом звери, так что и в данном случае усложнение семантики корня напрямую подводит к созданию символа в той же последовательности усложнения смысла: прямое значение слова — переносное его значение — символ.

Символические значения слов *звѣзда* и *звѣрь* существуют и до момента создания текста Кириллом. Более того, из этих символических значений он и исходит, выявляя контекстуально подводящие к пониманию символа переносные значения славянского слова. Другими словами, Кирилл создает текст с экспликацией тех *со-значений* ключевого термина, которые необходимы для расшифровки («показания», или «толка») символа.

Понимание смысла текста затруднено, если символическое значение не поддерживается текстовыми формулами, сохраняющими основное значение слова или ближайшие его переносные значения. Строго говоря, только в таком случае перед нами собственно символ; ср. все три употребления слова *жезль* в значении 'опора, сила' в службе Ольге: *Исаия тя жезль нарицаеть, пречистаа. Д[а]в[и]дъ же тя пр[е]сто[л]ь г[ос]поде[н]ь* (89, 16–17)²⁰; *жезль бжїя дха* (тоже о Богородице, 90, 25); *се жезль и съсуд златыи, се источникъ печатлѣненъ* (93, 27). Ср. с этим расшифровку символа, данную в древнерусских «Азбуковниках»: *жезль — посох*, но это уже перевод архаизма в собственном его, прямом значении, данный на исходе действия средневековой символической традиции.

Пониманию смысла символа способствует, напротив, широкое включение в текст уточняющих определений, ср. *меч* как «(холодное) оружие»: *ни пролься твоя от меча кровь* (IV, 425, 24 в парафразе из Иова 16: 9; и *остриемъ порази мя въ колѣнѣ* по «Острожской библии») — у Кирилла *греховнымъ же мечемъ злѣ порази мя* (Мол. 178, 4–5, здесь имеется в виду *грѣхъ* — «несчастье, беда»; и *си вся еретикы духовьными исѣкоша мечи* (VIII, 344, 12–13) при греч. *μάχαира του πνεύματος* — букв. «меч духа» (Ефес. 6:17). Способ постепенного истолкования символа через определение по существенному признаку в текстах Кирилла обычен.

Символическое значение слова может быть и единственным в произведениях Кирилла, но такое значение понятно из контекста. Рассмотрим это на примере слова *глубина*, которое встречается четыре раза:

1) *и рыбаари, глубину божия въчеловѣчения испытавшие, полну церковную мрежу ловитвы обрѣтають* (III, 417, 9–10) — парафраза из Слова Григория Богослова: *И рыбаарь глубины прозираеть и мрежу очищаеть*: символ на основе аллегории;

2) *Неизмѣрна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина, ниже свѣдомо божия смотрения таинство* (V, 331, 1–2);

3) *Аще бо в глубину божиих книгъ внидохъ, но грубомъ языкомъ ума просты изношу глас* (2, 354, 21–22);

4) (Богородица): *Знаю твое за Адама пострадание, нѣ душевную рыдаю объята горестию, дивящихся твоего таинства глубинъ* (IV, 420, 19–20).

²⁰ Канон Ольге цитируются по изданию Н.К. Никольского: Материалы для истории древнерусской духовной письменности // СОРЯС. Т. 82. № 4. СПб., 1907. С. 88–94.

Таким образом, в оригинале славянского перевода Григория Богослова (и других византийских ораторов) представлена аллегория (рыбать — это апостол, и пр.), которую Кирилл изъясняет посредством хорошо организованных парафраз, актуализируя смысы ключевого слова. Во всех примерах говорится о *глубинном* смысле явления Христа, и смысл этот следует раскрыть, постигая его сущность в символе.

Речь идет о «безмерности (бездонности)», а следовательно, о «непостижимости» этой суги. Ни одного из прямых значений слова у Кирилла не находим и в результате получаем возможность рассмотреть использование символа в средневековом тексте.

Греческие эквиваленты (прежде всего, *βάθος* 'глубина, бездна') в основном их значении соответствуют славянскому слову *глубина*, однако только в текстах Нового Завета — такие слова получили переносное значение 'глубокомыслие; серьезность; сущность'. Именно такое значение греческого слова в границах текстовых формул Писания и получили древнерусские книжники. Основываясь на прямом (и образном) значении 'бездонность', которое представлено и в традиционных формулах народной поэзии, эти тексты и «держат» символ с определенной его семантикой, постоянно расширяя его смысл в воссоздаваемых парафразах текста. Даже обороты типа «из глубины сердца», строго говоря, не являются метафорой в узком смысле термина, поскольку и это — точный перевод греческой формулы (встречается в Словах Иоанна Златоуста и в некоторых местах Псалтири). Славянским выражением вообще могло быть только сочетание с прилагательным, напр., «из сердечной глубины»; ср. *въ глубины духовныя* — тоже, впрочем, грамматически славянизированное выражение при переводе текста из Григория Богослова. Сочетание «глубины книжные», встречающиеся в восточноболгарских переводах XI в., при развернутом у Кирилла «глубины божиих книг» демонстрирует тот же поиск форм для передачи переносных значений слова, поскольку славянская грамматика предлагала несколько возможностей для подобного переложения.

Чтобы яснее представить себе смысл возникшей в результате обработки переводного текста семантической напряженности между исходным (прямым) значением славянского слова и постепенно выявлявшей свои «потаённые» смыслы символической его значимостью, необходимо проследить всю историю развития семантической структуры данного слова в его системных связях с другими словами. Прделав такую работу, мы можем реконструировать «семантическую парадигму» слова *глубина*:

1) 'расстояние от ... до' (от видимой поверхности до неопределенного уровня вниз),

2) 'пространство между этими точками',

3) 'заполненность этого пространства' (чем-либо или кем-либо),

4) 'бесконечность', т.е. непостижимость его (и поэтому),

5) 'суть' его («глубокомысленная» содержательность его бездонности).

Никакое конкретное изменение значения слова *глубина* в определенном контексте невозможно толковать как метонимию, парафраз, метафору, катахрезу и пр. вне подобной структурно-семантической его рамки, крайними точками которой являются: семантическая доминанта слова (1) и символическое значение культурного термина (5 и отчасти 4, как переход к 5). Исторически здесь представлена последовательность смещения объема понятия, происходившего

на основе серии метонимических переносов ('вместилище' — 'вмещаемое' и т.д.). В постоянном процессе углубления в семантическую перспективу слова материальной основой его всегда остается семантическая доминанта, а наводящей на развитие потенциальных значений слова является символическая ценность культурного текста, который воссоздает переносные значения.

Итак, образность текста создается Кириллом не с помощью метафорической «игры слов», а путем раскрытия символа в последовательности метонимических переносов в парафразах цельного текста. В результате происходит обобщение основного значения слова и развитие переносных значений. Метонимические переносы определяются контекстным окружением и характером синтаксических связей; обогащение последних все новыми типами также задано структурой текста и общей направленностью на раскрытие символа. Собственно говоря, только на различии форм в известной синтаксической позиции мы и устанавливаем конкретное значение слова, никогда не получая возможности создать законченную словарную статью: ограниченность контекстов не дает надежного материала для исчерпывающей семантической характеристики данного слова.

Рассмотрим еще несколько примеров.

Гласъ: 'звук речи; голос' — 'речь', но *гласъ чего* создает по видимости уже переносное значение 'велеие, зов (чувств, совести и пр.)'. Возможно двойное толкование последнего переноса в определенном синтаксическом окружении. Первое в сторону отвлеченного значения может быть естественным развитием собственного значения слова — или это заимствование из переводных текстовых формул. Последнее вероятнее, и подтверждение этому находим во многих случаях.

Перенос по типу олицетворения отражается обычно в устойчивых формулах, источники которых чаще всего известны. *Глас радости и веселиа* у Кирилла (2, 351, 7) сюда не относится. С одной стороны, это устойчивая формула в славянском переводе Псалтири, с другой — это грамматический эквивалент к славянской формуле «радостный гласъ», ср. рядом две синтаксически возможные формулы: *въскликнѣте богу гласомъ радости [...] в гласъ трубнѣ* (VII, 342,11–12).

Гласъ как 'звук' — 'голос': *и познавъше глас господень вся силы небесныя* VII 342, 44–45, а также сходные выражения IV, 421, 30; IV, 424, 30; (IV, 422, 36 и пр.) с постоянным совмещением значений 'звук' и 'голос' (т. е. собственно 'звук голоса'), поскольку высшие силы, о которых здесь всюду идет речь, «голосом» говорить не могут. Только сам о себе Кирилл может сказать *не хытростию бо словесъ възвышаю глас, но горьстью душа* (Мол. 191, 10–11) — 'звук (голоса)'. Столь же совмещенными по значению являются и другие контексты Кирилла: обычно это значения 'голос' — 'речь (слово)', ср. *вся вѣрныя душеполезными и спасеными наслажающе гласы* (VIII, 348, 1 и др.). Основным значением слова *гласъ* для Кирилла является 'речь, слово, высказывание'; отмечается содержательная сторона «голоса», *смысл* речений, а не *форма* высказывания (видимо, и как противопоставление к «книге», т. е. написанному, ср. примеры: 2, 351, 32; 2, 354, 23).

Власть: общее значение 'власть, господство' в текстах Кирилла присутствует во всех контекстах, поскольку это — основное значение слова. Синтаксической позицией, способной актуализировать одно лишь это значение, является сочетание с глаголом (*даты, получить* и пр. — *власть*), ср.: 1) *дать има власть на всѣх вѣшних* (1, 341, 21), *даную ми от бога отца власть и царство* (III, 418, 28).

Второе значение (отенок того же значения) ‘могущество, сила, владычество’ выражает собственно *проявление власти*, ср.: 2) *Тобѣ бо дасться власть всяка и сила на небеси и на земли* (VI, 339, 40–41; см. VII, 343, 17); *Не имаши на мнѣ власти никоея же* (IV, 421, 25); сюда же отнесены и созначения ‘властность (возможность поступать по своей воле)’, ср.: *животоу и смрти имя власть, избави мя* (Мол. 179, 3–4); синтаксическая позиция ясна и в данном случае.

Затем выявляется значение ‘лицо, орган власти’, т. е. *носитель власти*, ср.: 3) *Напасть [...] ли к власти обида зла* (2, 349, 24–25), *на плотней бо чистотѣ держитъся ефуд, а не по власти сана* (3, 360, 20–21); сюда же, видимо, можно отнести некоторые устойчивые сочетания, например *власти тьмьныя* (т. е. ‘власти тьмы’, бесы), ср. VII, 340, 24 и пр.

В определенных синтаксических позициях актуализируется и значение *объекта власти*, т. е. ‘область, государство’ или ‘владение, собственность’, хотя последнее значение в текстах Кирилла и не представлено, а значение ‘область’ весьма спорно в контексте и *тѣ измѣтаеть неправедныя из власти* (1, 344, 31); скорее всего это значение (2) или (3). В древнерусском языке такое значение слова достаточно распространено, однако семантическая отдаленность его от основного значения слова довольно рано вызвала необходимость в новой лексеме, которая и появилась в разговорной русской форме — *волость*. Распределение форм по стилистическому признаку (*волость* — *власть*) и в данном случае отражает свойственную древнерусскому книжному языку семантическую поляризацию: неполногласная форма соотносится с субъектом, а полногласная — с объектом властной силы (оппозиция «внутреннее — внешнее»).

Такова последовательность метонимических переносов, обусловленных близкими контекстами (синтаксической позицией и некоторыми распространителями), которая обусловлена и общим значением гиперонима, в данном культурном тексте представленного символом.

Глава: основное значение ‘голова (часть тела)’ присутствует во всех контекстах, в том числе и в цитатах из Писания. Прямое значение — субстрат возможных образных переносов, ср.: *дондеже на главѣ ти плѣшь будетъ* (3, 356, 10) и пр., всего 12 раз. Метонимический перенос связан с обозначением волос на голове: *Нѣ и собе истрижения главы твоя въспомани* (3, 356, 28–29), *свои постригоста главѣ* (3, 356, 3) и др.

Значение слова *голова* как ‘душа’, т. е. конкретно ‘человек’, представлено в некоторых контекстах при одновременном сохранении основного значения. Возникает игра смыслами: *превъзидоша безакония моя главу мою* (V, 332, 23), *грѣси мои покрыша главою мою* (Мол. 178, 12). Синтаксическая позиция ограничивает возможности переноса, связанного с цитатами (как в тексте из Молитв). Значение ‘то, что главенствует’ также сопутствует основному значению слова, определяясь узким контекстом, ср.: *Суть бо вси под игуменом, акы уди телесни под единою главою, сдрѣжыми духовными жилами* (2, 350, 31–32); *Сим бо тѣлом глава адова скрушена бысть* (II 412, 41, т. е. ‘вождь ада’ — сатана).

Другие значения слова *глава* известны древнерусскому языку, но у Кирилла они не встречаются. Совмещенность метонимического значения с основным в одном и том же контексте — характерная особенность Кирилла и в данном случае; столь же явно наблюдается связь значения слова с грамматически обусловленным контекстом.

Гнѣвъ: ‘состояние сильного негодования, возмущения’, обычно с указанием субъекта гнева, т.е. *гнев ваш, гнев жидовск* и пр., которым может быть и Бог, хотя сочетание *гнев божий* имеет и другое значение: ‘наказание (от Бога)’, ‘кара’, налицо перенос с субъектных отношений на объектные. Устойчивое сочетание с глаголом также организует речевую формулу, ср.: *гнѣвъ возложити (послати) на кого-либо* — ‘наказать’. Такой аффект, как гнев, не нуждается в лексически выраженной специализации значений, поэтому ни контекстными переносами, ни в виде самостоятельных слов слово *гнѣвъ* не разграничивало оттенков гнева — от глухого недовольства — до исступления, как это представлено, например, в греческом языке. Все греческие слова этого значения одинаково переводились одним славянским словом *гнѣвъ*, которое благодаря этому не просто сохраняло свой исходный семантический синкретизм, но и, становясь гиперонимом литературного языка, выступало в качестве символа в определенных культурных текстах.

Семантические корреляции, включающие в свой состав оппозицы разного ранга, влияют, по-видимому, и на тип лексического варьирования. «Смысловая группа „Бог” включает в себя именованья единственного денотата, как просто называющие его в трех ипостасях (*Бог-отець, Христось, Святый Духъ*), так и характеризующие его (*Спасъ*), однословные и дескрипционные („Творецъ твари и законудавецъ”)»²¹. Таков, действительно, обычный прием антономазии, т. е. именованья по одному признаку, собственному имени или описательно. Проблемы синонимии, о которой сразу же возникает мысль, здесь не обнаруживаются, поскольку даже однозначные слова в семантическом смысле не соотносимы друг с другом в текстовых формулах Кирилла; они определяются либо своим происхождением, либо конкретным текстовым окружением. Антономазия как прием снимает и проблему метафоризации, поскольку «содержание понятия», отраженное в слове, здесь не изменяется, внимание сосредоточено на каком-то единственном признаке денотата и выражается самостоятельной лексемой. Другими словами, антономазия выступает как бы обратной стороной метонимии, весьма обычной в текстах Кирилла, и действуют они в отношении к «объему понятия», переданному словом-термином.

Но если положительная коннотация родового (гиперонима) «Бог» создает семантическое варьирование по лексемам, увеличивая их численность и не создавая при этом синонимии, то отрицательная коннотация оппозиита, напротив, вызывает семантическое варьирование в границах одного и того же слова (лексемы). Рассмотрим этот процесс на примере слова *бѣсъ* (*бѣси*) в противопоставлении к слову *Богъ*.

[Д]а и в послѣдни день възкресше с телесы неблазньно поклоняться богови, а не им же нья работаша, прельщени бѣсом» (1, 346, 18–19).

Числовая неопределенность подчеркивается грамматической формой, совпадающей и для дательного падежа множественного числа (*работаша бѣсом*), и для творительного падежа единственного числа (*прѣльщени бѣсом*). Однако в прямом значении, в противопоставлении к лексеме *богъ*, это слово могло использоваться и в форме ед. числа: *не дай же ми радостьникоу быти бѣсоу* (Мол. 188, 9), *запрети бѣсоу* (Мол. 183, 14).

²¹ Супрун А. Е., Кожина А. А. К лексической структуре древнерусского текста: на материале Слов Кирилла Туровского. С. 122.

Наоборот, в собирательном значении ‘нечистые (духи)’ это слово всегда представлено в форме множ. числа: *да не приступят бѣси, хотящей ны убити грехом* (II, 412, 38), *бѣсы от человек прогнав* (VI, 336, 32). Ср. также: *О Вельзулѣ, князи бѣс, изгонити бѣсы* (VI, 340, 5–6) с оригинальным текстом в Мф. 9: 34 по «Острожской библии» (*о князи бѣсовѣстѣмъ — изгонити бѣсы*). Отсюда возникает возможность метонимического переноса; ср. сказанное о бесноватом человеке (IV, 422, 8–10 и IV, 424, 12–13) в соответствии с таким употреблением в славянском переводе Евангелия, а также сочетание «бес полуденный»: *избави мя от всякыя стрѣлы летящая въ днь. и от сряци бѣса полудньного* (Мол. 179, 4–5), ср. Псалом 90 и греческий эквивалент сочетания.

Семантический переход ‘дьявол’ > ‘злая (сила)’ > ‘бесноватый’ и/или ‘(насылающий) бесов’ складывается из формул разного происхождения, однако строго ограничен только данным семантическим развитием — на основе метонимического переноса. Если бы возникла необходимость, скажем, использовать слово бѣсъ для обозначения языческого божества, семантическое единство текста воспрепятствовало бы вторжению некоррелированного значения в семантике данного термина, как она представлена именно в системе Кирилла. Поучительный пример находим у самого Кирилла (VI 338, 27–29):

Ци ли на высокыя холмы хочете мя повести, иде же вы своя дѣти бѣсом закаласте? Пожроша бо — рече — дѣмоном [вариант по поздним спискам: бесом], а не богу, — богом, их же не вѣдаша отци их.

Ср. с этим оригинал: *Пожроша бѣсовомъ, а не богу, богомъ, ихже не вѣдаша* (Втор. 32: 17 по «Острожской библии»). Греческое слово δαιμόν (‘дух, божество’) подходит в данном случае как разъясняющее отношение к Единому Богу бѣсовъ, дѣмоновъ и «боговъ» (тоже во множ. числе). Символическое значение не возникает даже на основе обычной для этой лексемы формы множ. числа: *богомъ*, т. е. *демономъ*, а значит, и *бѣсовъ*.

То же противопоставление возникает у имен абстрактного значения. Положительная коннотация дает возможность лексического варьирования для выражения общего денотата, например: *любовь — любление, милость, миръ, снага* и пр., может быть, в зависимости от контекстных значений соответствующих греческих слов (ἀγάπη «любовь» и пр.). Это позволяет сохранить синкретическое единство в значении родового по смыслу слова, последовательно уточняя отдельные его признаки. Поэтому в 20 употреблениях слова *любовь* очень трудно определить оттенки значения, составить схему семантических переходов в зависимости от текстовых формул. В конце концов, ‘привязанность’ или ‘склонность’ мало чем отличаются от значения ‘согласие’ или ‘отношение’, совместно представляя общее значение важного слова (символа).

Напротив, слова типа *вещь* невозможно соотнести с однозначными им терминами, связанными с ним отношением гипонимии. Гиперонимичность слова *вещь* определяется семантической структурой корня и возможным варьированием грамматической формы. Например, у Кирилла это слово употребляется лишь в форме множ. числа и притом только в двух значениях:

1) ‘дело, событие (как результат)’: *забуди мирьскаго жития вещи и нетрудный хлѣб* (3, 356, 12–13; ср. еще 2, 352, 17 и 2, 355, 10; 1, 411, 16 и др.).

2) ‘вещество’ — ὕλη философ. ‘вещество, материя’: *по искушении телесных вещей о души попецися* (2, 352, 5–6).

Семантическая цепочка возможных в древнерусских текстах значений слова не выражена в произведениях Кирилла полностью, но может быть представлена на основании других источников того же времени²². Семантический синкретизм славянского слова и в данном случае поддерживается семантической связью этого славянского слова со множеством греческих, которые оно переводило, создавая гипероним литературно-книжного языка. Опасно, конечно, называть гиперонимом слово, не связанное с гипонимами, которых еще нет в этом языке. Однако восстановить исходный элемент впоследствии развивавшихся гипонимо-гиперонимических отношений историк все-таки обязан.

Глагольные формы — наиболее подвижная часть текста, но и они в определенных условиях способствуют созданию образного значения. У глаголов переносное значение подразумевается и на основе обычных изменений грамматической формы (как и у имен), и в связи с параллельным к основному значению развитием отвлеченных символических значений. Последнее лучше всего видно на часто употребляемых глаголах, тут можно видеть «игру значений» и представить общее движение смысла в тексте.

Въселити(ся) — ‘войти; ввести’: *В ту же мѣру [...] в небесное царство въселити* (3, 355, 40-42), *и святых души паче естества обогатѣша, от ада на небеса вселившиеся* (11, 412, 28-29). Таково основное значение слова, которое использовано в тексте самого Кирилла и подтверждается характером синтаксических связей (*въселити въ; от ада на небеса*).

Второе значение слова приходит вместе с цитатой: *На руку свою написах стѣны твоя, Иерусалиме, и вселюся по среде тебе* (I, 411, 31-32), ср. Ис. 49: 16 (по «Острожской библии»): *Се в руку мою въписахъ грады твоя, и предо мною еси присно*. Парафраз с заменой глагола (*вселюся/еси присно*) создает совершенно иное значение у глагола — ‘разместиться, поселиться (находиться)’, но вместе с тем уже и отвлеченно переносно как ‘приобщиться’ (тому, во что вошел, стать его частью).

Третье значение связано с устойчивым выражением ‘вселиться в них’ и также пришло из Писания. Говоря о православных, верных церкви, как о «вместилище» Духа божьего, Кирилл часто использует цитату из 2 Кор. 6: 16, которая в «Острожской библии» представлена так: *Якоже рече богъ: „Яко вселюся в нихъ и похожу, и буду имъ богъ“*; ср. у Кирилла: *Вселю бо ся — рече — в ня и похожею* (1, 410, 6-7, также 1, 341, 35), а также и в другой форме: *вселися в ня* (2, 351, 36), *вся вселшася в ню* (1, 342, 27), ср. еще: *И слово плѣть бысть, и въселися в ны* (VIII, 346, 7-8) из Ин. 1: 14 (по «Острожской библии»): *и слово плѣть бысть и вселися в ны*. Таково значение слова при переводе греч. *ενοικήσω ἐν αὐτοῖς* и *εσκήνωσεν ἐν ἡμῖν*, т. е. в первом случае и ‘вселиться’ и ‘обитать’, т. е. ‘проживать (в доме), а во втором — ‘располагаться’ (как дома), т. е. ‘утверждаться’. Учитывая сходство синтаксических конструкций, в которых представлено данное сочетание значения (при разных греческих словах и формах их представления), можно предположить, что для Кирилла в данном случае важнее как раз переносное значение слова ‘утверждаться’.

²² Колесов В. В. Древнерусская вещь // Культурное наследие Древней Руси / Под ред. М. Б. Храпченко и др. М., 1976. С. 260–264. Любопытные сближения я нашел впоследствии в статье: Хайдеггер М. Вещь // Историко-философский ежегодник. 1989 / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М., 1989. С. 269–284.

Итак, все три типа синтагм, употребленных в текстах Кирилла, восходят к различным по происхождению сочетаниям: авторское прямое значение, на которое накладываются переносные значения слова, вынесенные из переводных текстов, хотя при этом всегда определяемые основным значением славянского корня и не выходящие за пределы его семантики. Тем не менее, поскольку второе и третье значения слова, в сущности, являются одинаково переносными, можно допустить, по системным соображениям, что и первое значение глагола воспринималось столь же символически; такое символическое значение можно было бы условно записать как 'войти (внутри)' → 'внедриться' (т. е. 'вознестись').

Теперь последовательность со-значений глагола становится ясной как воплощение символического значения:

1. 'войти (внутри)' > 'вознестись' (т.е. внедриться);
2. 'разместиться (внутри)' > 'приобщиться';
3. 'пребывать' > 'утвердиться' (т. е. стать частью этого).

Важно, что все значения этого слова, которые сегодня мы вполне могли бы передать различными приставочными (соответственно: *в-селиться*, *рас-селиться* и *по-селиться*), в текстах Кирилла еще не специализированы лексически, эти значения представлены совместно в общей лексеме, они актуализируются только контекстно. Дело в том, что древнерусская формула, в составе которой употреблено слово, особенно глагольное, могла быть образована только по принципу согласования: **въселитися въ...** а не **поселитися въ, расселитися въ...** Таково формальное ограничение семантических вариантов: грамматический контекст одерживал возможный разброс со-значений слова.

Семантические переходы от конкретных (движение подано аналитически, разными контекстами) к отвлеченным значениям предстают как корреляции и могут быть показаны на многих примерах употребления Кириллом глагольной лексики. На подобных семантических корреляциях в текстовых формулах, экспериментирующих на семантической доминанте глагольного корня («внутренний образ» слова), и строится скрытый символ повествования — в отличие от прямого символа, выражаемого отдельным именем существительным. В подобных корреляциях, жестко скрепленных, с одной стороны, семантикой славянского слова, с другой стороны, возможными пределами переносных значений в переводных текстах, и развивается переносное значение славянских слов. Семантика каждого отдельного слова в этой системе понималась как мало-значительный дифференциальный признак, указывающий на оттенок значения; важна была система символов, она задавалась умело подобранными и уместно употребленными переводными текстами, которые как бы направляли процесс развития переносных значений, но только контекстно обусловленных, т.е. формульно связанных, не разрушающих еще исходной синкретичности автономного славянского слова. Неслучайность цитат, полумитат, а еще чаще намекающих парафраз (как и в примере с текстом Исайи), в том и заключается, что именно цитаты организуют семантическую систему символов и одновременно являются ключом к пониманию этих символов.

У имен прилагательных положение сложнее. По своему грамматическому свойству обозначать единственный признак они, на первый взгляд, не могут создавать единой семантической структуры, поскольку и по определению выражают не символ, а лишь его признак. Всю сложность возникающей в связи с этим проблемы покажем на прилагательных с отрицательным префиксом.

Бесконечный: ‘не имеющий предела’ как калька с греческого *αἰώνιος* ‘беспредельный’ в сочетании, обозначающем «вечную жизнь» на небесах; встречается только в оборотах, которые постепенно заменяли друг друга по мере привлечения в состав авторского текста разных источников. С современной точки зрения это синонимы, но их семантическая близость возникает как вторичное по сложению семантическое соотношение слов, употребленных в составе устойчивых формул, ср.: *въ бесконечныи вѣкы* (Мол. 184, 33; также III, 418, 29) — в *бесконечныи живот* (I, 347, 15; VIII 344, 18), в *бесконьчную жизнь* (IV, 421, 2; V, 333, 16) и, наоборот (в отношении к смерти): *праведници в вѣчную жизнь, а грѣшници в бесконечную смертную муку* (I, 347, 41-42; см. также 2, 349, 6-7, IV, 426, 5) — *плача оного бесконечнаго* (Мол. 180, 20-21, метонимия: значение ‘чрезмерный’).

Любопытно, что в восточноболгарских переводах тем же словом *бесконечный* передавалось и греческое слово *αἰώνιος* ‘чистый, непорочный’, чего нет в древнерусских источниках. Неясно, присутствовало ли это значение и в сочетаниях типа «бесконечный живот», хотя семантический синкретизм славянского новообразования допускает такое понимание: в первоначальном переводе формула «бесконечный животъ» еще не заменилась сочетанием «бесконечная жизнь». Однако количественная мера пространственного значения у прилагательного *бесконечный* выше качественного наполнения семантики слова (значение ‘непорочный’ не определяется компонентами славянского слова).

Безначальный: «самовластный, никому неподвластный» — в сочетании со словом *Отец* (*Бог-отец*), ср.: *бе нашъ иже нашего ради спасения. ѿ безначалнаго ти ѿца пришедь* (Мол. 188, 1; также 191, 28, ср. *б[ож]е всемогъи и безначалный г[оспод]и* — Мол. 177, 1). Эта калька с греч. *ἀναρχος* ‘безначальный’ (ср. *анархия*). Переносное метонимическое значение ‘извечный’ связано с воплощениями безначального Отца: *безначальный свѣтъ* (Мол.) и слово [...] *събезначалное* (Канон Ольге, 90). В отличие от предыдущего прилагательного (*бесконечный*), качественное наполнение слова выше, переносное значение ‘властность’ важнее чисто количественной (пространственной) его характеристики. Возможно, это несоответствие определялось семиотическими установками средневековой христианской культуры, согласно которым «конец» маркировала «начало».

Характерно, что в обоих случаях временные и пространственные характеристики не дифференцированы и представлены в синкретизме. Такой же семантический синкретизм отмечаем во многих других прилагательных, ср. *далече бога есмы* (1, 345, 13) — и далеко, и не скоро дойдем; *ближним и дальним* (1, 409, 2, см. разночтения) — одновременно и по времени, и по расстоянию; *Вмалъ к тому не видѣте мене* (II, 413, 21-22) — и ‘снова’, и ‘вскоре’, и ‘поблизости’, и пр. одинаково можно «перевести» на современный язык наречие *вмале*. Неопределенность конкретной характеристики пространственно-временной ориентации закономерно представлена в текстах обобщенно-символического содержания, составляя один из главных признаков таких текстов.

Итак, отметим, что образность текстов Кирилла Туровского создается этим автором за счет раскрытия символа в парафразах с возможным метонимическим переносом в сторону обобщения основного значения, что постепенно и приводило к созданию ряда гиперонимов, столь необходимых литературно-книжному языку. В свою очередь, обращает внимание и зеркальная противоположность в отношениях между семантической структурой отдельного слова (возможно ее расширение) и семантической системой «однозначных» слов

(возможно их увеличение). Семантика внутреннего и внешнего ряда имеет общую точку пересечения — символ во всем синкретизме его значений. Направленность семантических изменений в древнерусских текстах определяется также давлением со стороны заимствованных переводных текстов.

Исследование поэтических и стилистических средств Кирилла, равно как и других мастеров словесного искусства эпохи Средневековья, остается насущной задачей медиевистики. Только раскрывая потаенный смысл древних текстов, мы сможем войти в духовный мир средневековых авторов и в определенной степени понять их ментальность.

Источники и литература

1. *Бегунов Ю. К.* К стилистике торжественного красноречия: Кирилл Туровский и Григорий Цамблак. // Търновска книжовна школа: Велико Търново. 1971. С. 39-51.
2. *Виноградов В. П.* Уставные чтения. Вып. 3. Сергиев Посад, 1915.
3. *Виноградов В. П.* О характере проповеднического творчества Кирилла, епископа Туровского // В память 100-летия Московской духовной академии. Сборник статей, принадлежащих бывшим и настоящим членам академической корпорации. Ч. 2. Сергиев Посад, 1915.
4. *Владимиров П. В.* Древнерусская литература Киевского периода. Киев, 1900.
5. *Григорьев А. А.* Литературные и житейские воспоминания. М., 1915. Т. 1.
6. *Еремин И. П.* Литература Древней Руси. М.; Л., 1966.
7. *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 11-13, 15. М.; Л., 1955-1958. С. 342-367, 340-361, 409-426, 331-348.
8. *Катков М. Н.* Об элементах и формах славяно-русского языка. М., 1845.
9. *Колесов В. В.* Древнерусская вещь // Культурное наследие Древней Руси / Под ред. М. Б. Храпченко и др. М., 1976. С. 260-264.
10. *Колесов В. В.* К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. 36. 1981. С. 37-49.
11. *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967.
12. *Никольский Н. К.* Материалы для истории древнерусской духовной письменности // СОРЯС. Т. 82. № 4. СПб., 1907.
13. *Петухов Е. В.* К вопросу о Кириллах-авторах в древнерусской литературе // СОРЯС. Т. 42. № 3. СПб., 1887. С. 1-33.
14. *Рогачевская Е. Б.* Цикл молитв Кирилла Туровского: тексты и исследования. М., 1999.
15. *Супрун А. Е., Кожина А. А.* К лексической структуре древнерусского текста: на материале Слов Кирилла Туровского // Проблемы лингвистики текста. Мюнхен, 1989. С. 101-120.
16. *Сухомлинов М. И.* Рукописи графа А. С. Уварова. Т. II. СПб., 1858.
17. *Хайдеггер М.* Вещь // Историко-философский ежегодник. 1989 / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М., 1989. С. 269-284.
18. *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма. М., 1913. Т. 1.
19. *Thomson Francis J.* Quotations of Patristic and Byzantine Works by Early Russian Authors as an Indication of the Cultural Level of Kievan Russia // Slavica Gandensia. 1983. № 10. P. 65-102.
20. *Trubetzkoy N. S.* Three Philological Studies. Ann Arbor, Mich., 1963.